ГАЗЕТА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
НАШ САЙТ: denlit.ru
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
denlitera@yandex.ru

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ГАЗЕТА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
№ 8(262) – 2018

Три века

Юрий ЛУНИН

Рассказ

Утро в середине лета, небо не предвещает дождя.

По обочине пустой загородной дороги летит на велосипеде парень семнадцати лет. Только что начался длинный спуск, на котором можно отдаться инерции и дать отдых ногам, но парень, наоборот, начинает работать ими всё быстрее, чтобы поспеть за собственной скоростью летящего вниз велосипеда и вновь ощутить сопротивление педалей, тем самым присвоив скорость себе. Но едва он ощущает желаемое сопротивление, велосипед словно отказывается от его помощи и продолжает катиться сам, заставляя как бы водить ногами по воздуху и всё начинать сначала.

Так они вдвоём достигают невероятной скорости, которой парень согласен уже просто насладиться.

По обеим сторонам от дороги стоит спокойный, ещё не прогретый солнцем лес. Вся дорога в тени этого леса, и асфальт поэтому синий. В воздухе ясно ощущается запах прохладной дорожной пыли. Парень чувствует, что этот запах и синее каким-то образом связаны друг с другом и что в этой связи кроется нечто не по-земному прекрасное. Ему очень хочется разгадать тайну этой связи, и в то же время ему особенно приятно, что он не может её разгадать. Ему не хватает кого-то рядом, и вместе с тем он счастлив, что совершенно один. Он много чувствует нового, не похожего ни на что прежнее, и хочет чувствовать ещё больше, но втайне от себя просит у кого-то: "Чуть поменьше, не надо слишком много", – потому что боится не вместить всего и остаться ни с чем.

Дрожит от ветра велосипедный звонок, гудят колёса, и рассекаемый воздух тепло гудит у висков.

Шумно, и жутко, и грустно, и весело – я ничего не пойму, – вспоминает парень строчки и с волнением глядит вперёд, туда, где обрывается лес и начинает сиять поле…

Всю вторую половину июня он провалялся в больнице с аппендицитом: плохое заживление рубца. Потерял две недели хорошего лета. Пропустил вступительные экзамены в местный строительный институт, куда пошли учиться почти все его одноклассники, да и большинство вообще выпускников города.

Испытал первую в жизни настоящую сильную боль – как телесную, так и душевную. Раньше ему казалось, что он застрахован от всего страшного, что случается с людьми; что хирургические операции и больницы придуманы для других, не для него. А вот загремел, как другие, стал одним из этих других.

В первые дни после операции с незнакомой ему прежде тоской смотрел на верхушки берёз, которые призывно дрожали сверкающими листьями за окном палаты. Вместе с ветром до него доносился смех неизвестных ему детей и девушек. Ему до слёз хотелось к ним, на солнечную волю: видеть их лица, смеяться вместе с ними. Он понимал, что уже очень скоро это будет ему доступно, а стало быть, нечего так страдать, но почему-то не мог избавиться от невыносимой тоски. Ему казалось, что никогда он отсюда не выберется.

Но больничные дни принесли в его жизнь не одну эту боль.

В коридоре на третьем этаже, как раз неподалёку от его палаты, имелась библиотечка. Библиотечка – это даже громко сказано; просто прибитая к стене полка, на которую больные складывали прочитанные ими журналы и детективы, не видя смысла забирать одноразовое чтиво домой. Как только парню отменили постельный режим, он вышел погулять по коридору и набрёл на эту полку. Вообще, он не очень-то увлекался чтением, но сейчас его внимание привлекла довольно толстая книга в коричневой обложке, своей благородной простотой выделявшаяся из разноцветной груды периодики и дешевых романов. Он прочёл на корешке название: "Три века русской поэзии", достал книгу и подержал в руке, чувствуя, как его незатянувшийся рубец реагирует даже на такую невеликую тяжесть. Он взял книгу под мышку и отправился к себе в палату. Там он взбил свою дистрофическую подушку, улёгся на узкую койку, с которой так и не стряхнул колючие хлебные крошки, потому что не желал даже в такой ничтожной мере обживаться в нелюбимом месте, накрылся до пояса одеялом, как обычно запутавшись пальцем ноги в дырявом пододеяльнике, раскрыл книгу наугад и прочёл стихотворение Тютчева. Потом раскрыл на другом месте и попал на Заболоцкого, потом на Фета, на Рубцова, на Пастернака, Полонского, Державина, Фофанова – и так далее…

Некоторые стихи были ему знакомы со школы, но тогда он читал их исключительно по долгу учёбы. Теперь же он читал сам, для себя, и это было совсем другое. Он помнил, что раньше очень многое в этих стихах было ему непонятно. Он даже задавался тогда вопросом: зачем писать так сложно и странно, если можно сказать обо всём просто? Теперь он удивлялся тому, как это раньше стихи Пастернака, Мандельштама, Цветаевой могли казаться ему сложными, странными, заумными. Видимо, боль, с которой он познакомился в больнице, распахнула в его сердце какую-то тайную дверь, в которую сразу ворвалось понимание этих стихов.

И он не мог оторваться от них. Он читал их, забыв самого себя, читал так жадно, как если бы находился в пожизненном заключении и одними лишь этими стихами мог напомнить себе о том мучительно радостном и просторном мире, который потерял навсегда.

Он стал читать эту книгу дни напролёт. Иногда чувствовал, как к его глазам подступают слёзы, и тогда ему приходилось понарошку чихать и тереть нос, чтобы соседи по палате не догадались, что он плачет из-за книги.

Когда в палате выключали на ночь свет, стихи продолжали звучать в его голове. Он совсем не старался заучивать их наизусть; просто, читая, он проживал их сердцем насквозь, и они сами вкладывались в память целыми страницами, становясь как бы его собственными. На соседних койках храпели на разные лады его случайные товарищи по неволе, время от времени звучно портя воздух; в коридоре потрескивали плафоны и изредка раздавались чьи-то скучные, равнодушные шаги, – а он лежал и видел глазами воображения мудрый, прогретый солнцем лес, видел изгиб сверкающей реки, видел сирень под тёплым дождём и задумчивую чистую девушку у вечерней калитки. И в какую-то секунду ему начинало казаться, что из того прекрасного мира, который он воображает, до него долетает настоящий ароматный ветер, и ему снова хотелось плакать, и часто он плакал. Поначалу он не вдумывался в эти слёзы и был уверен, что они текут от тоски, как вдруг однажды понял, что эти слёзы – слёзы счастья.

Днём, в обеденное время, когда по душной палате вместе с запахом пищи разливалась тупая дремотная лень, он иногда начинал стыдиться того, что испытывал ночью, и нарочно говорил себе: "Чёрт знает что творится с нервами в этой больнице. Скорей бы уже отсюда смотаться". Однако он снова, – видимо, для того, чтобы себя испытать, – взбивал свою тощую подушку, ложился на усыпанную колючими крошками койку, открывал книгу – и дремотная лень отступала, снова до него доносился ароматный ветер, ещё более прекрасный и удивительный посреди жаркого дня, чем посреди ночи.

Больницу он покидал не без сожаления. Конечно, он не забыл захватить с собой "Три века русской поэзии", но, едва переступив больничный порог, понял, что теперь ему будет трудно читать эту книгу так, как он читал её в больнице; что сейчас его захватит свободная, неплохая, но где-то более глупая жизнь.

Он единственный ребёнок в семье. Его аппендицит сильно напугал родителей. Как ни странно, раньше они тоже пребывали в уверенности, что все на свете болезни и несчастья будут обходить их сына стороной, – и вот им тоже пришлось разделить участь других, с чьими детьми случается всякое. Благодарные судьбе за то, что с их ребёнком случилось ещё далеко не самое страшное, в первую неделю после его возвращения они относились к нему, как к божеству, одного простого пребывания которого рядом уже достаточно для счастья: пускай оно целыми днями валяется у себя в комнате с какой-то книжкой, которая, быть может, и не имеет никакого отношения к его профессиональному будущему, – всё равно это в миллионы, в миллиарды раз лучше, чем если бы оно просто исчезло из их жизни. Но на вторую неделю они будто проснулись от дурного сна и ясно осознали, что их сыну ничто не угрожает, более того – что их тревога за его жизнь изначально была преувеличенной. И тогда, – видимо, давно разучившись жить вообще без тревоги, – они окунулись в привычное беспокойство за его дальнейшую судьбу: вступительные экзамены он пропустил, в ноябре ему стукнет восемнадцать, а он как ни в чём не бывало лежит с книжкой, на страницах которой (мама уже успела это заметить) одни столбцы и строфы. Имеет ли он какой-то жизненный план? Или ошибочно думает, что всё сложится само собой?

В пятницу вечером отец вошёл в его комнату, чтобы начать об этом разговор. Парень сразу понял, что отец зашёл не просто так; понял по тому, как, не промолвив ни слова, он пододвинул к его кровати стул и основательно уселся на нём. От неприятного предчувствия парень ощутил что-то вроде лёгкой тошноты.

Начал отец издалека: сначала спросил о физическом самочувствии, потом поинтересовался насчёт морального состояния: говорят, нередко после перенесённой операции человек испытывает что-то вроде депрессии. Сын отвечал, что чувствует себя хорошо, почти как до аппендицита, да и настроение вроде бы нормальное. О стихах он, конечно, говорить и не думал: во-первых, он был уверен, что разговор их не коснётся; во-вторых, он и сам ещё не до конца понимал, какое значение они приобрели в его жизни, и даже не успел ещё себе признаться в том, что все послебольничные дни только и делает, что пытается нащупать то нераздельное единство со стихами, которое ощутил в больнице и без которого жизнь казалась ему теперь неполноценной.

Придвинув стул ещё ближе к кровати (что прямо пропорционально усилило в парне ощущение тошноты), отец мягко, без нажима спросил его, почему (если, по его словам, он так хорошо себя чувствует) он уже вторую неделю проводит в горизонтальном положении. Может, всё-таки что-то не так? Сын повторил, что всё в порядке, и, понимая, что таким ответом отца не удовлетворить, всё же добавил, что просто читает интересную книгу. Он всё ещё не думал говорить о стихах, о том, что они появились в его жизни как нечто очень важное и серьёзное. Просто решил оправдаться при помощи книги. Но отец уважительно, со словами: "если ты, конечно, не возражаешь", попросил разрешения поглядеть, что это за "интересная книга", и парень не нашёл причин отказать ему.

Отец долго листал "Три века русской поэзии", часто заглядывая в содержание. Парню было непривычно смотреть на то, как отец переворачивает страницы, иногда мимолётно касаясь пальцем языка: кажется, парень никогда раньше не видел его за таким занятием.

Пока продолжалось чтение, за окном пролетел самолёт, оставив на безоблачном розовеющем небе идеально ровную черту, похожую на разрез скальпеля. Парень задумался о том, что эта черта, привнесённая в небо человеком, удивительным образом не уродует, а украшает небосвод.

"Так же и стихи, – сказал себе парень. – Они тоже идеально ровные, как эта полоска, хотя мир, про который они написаны, совсем не ровный. Стихи выравнивают мир".

Между тем черта начала медленно распухать, будто вспоротое небо выпускало из себя своё странное содержимое.

– Н-да… – сказал отец, выпрямляясь и расправляя затекшие плечи. – *Что делать нам с бессмертными стихами…*

Он вздохнул (парень не понял над чем) и вернул сыну книгу.

Летний вечер, который до этого казался продолжением дня, в одну секунду стал началом ночи. И отец, и сын сразу это почувствовали. Трудно было сказать, что именно изменилось (быть может, затих на улице какой-нибудь неумолчный детский голос, который служил до этого незаметным сердцебиением дня), но воздух комнаты, не освещённой электричеством, наполнился вдруг той тихой печалью, которую испытываешь у постели медленно угасающего человека. Эта печаль располагала к тихому откровенному разговору.

И отец рассказал, что до сих пор помнит даже запах той самиздатовской книжки со стихами Гумилёва, которая тайно ходила по рукам у студентов, когда он учился на третьем курсе института, а мама училась на первом. Это был тот же строительный институт, куда поступило нынешним летом большинство одноклассников парня и куда ещё совсем недавно собирался поступать он сам.

– Н-да… – повторил отец и процитировал снова: – *Кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства…*

"Пищит наш дух", – хотел поправить парень, но не стал. Он поглядывал на отца с осторожным удивлением. Он и не думал, что в отцовской жизни тоже имела место поэтическая страница. В свете этого неожиданного открытия ему сразу показались странными две вещи: первая – что отец ни разу не заговаривал с ним о стихах раньше, а вторая – что сегодня это обычный инженер-строитель, день ото дня выполняющий довольно скучную работу и больше половины своего свободного времени посвящающий телевизору.

Кажется, отец отчасти угадал недоумение сына, и почему-то заговорил после этого с более откровенным назиданием, словно стряхнув с себя печаль идущего на убыль дня и, казалось, даже делая некоторый акцент на том, что эту печаль надо уметь стряхивать.

– Ты, наверное, думал, что я кроме чертежей ничего в жизни не видел и не знаю?.. Не-

ет, всё было: и стихи, и романтика, и песни у ночного костра. Только мы как-то умели это с делом совмещать. Одно другому у нас почему-то никогда не мешало. Между прочим (да ты, собственно говоря, видел у меня этот шов неоднократно), мне тоже пузо вскрывали. Грыжа у меня была: на картошке вытаскивали из грязи трактор, и я переусердствовал, перед мамой твоей хорохорился… Я тогда уже не только учился, но и работал. И с мамой вовсю встречался. И знаешь – ничего. Отлежал, по-моему, даже меньше положенного, вышел, нагнал институтскую программу, на работу вернулся. И как-то это было совершенно без всякого героизма, в порядке вещей. Так что…

Отец не стал заканчивать фразу, видимо, предлагая теперь высказаться сыну. Парень даже приблизительно понимал, каких именно слов ждёт от него отец: он должен сказать, что такой подход к жизни в порядке вещей и для него, что он тоже не раздувает трагедии из своего аппендицита, что, возможно, отец прав и он действительно переживает после больницы некий моральный упадок, но ещё денёк-другой – и всё вернётся на круги своя. А ещё ему следовало сказать о стихах: что стихи – это так, ничего такого серьёзного. Не думает же отец, что он собирается стать поэтом?

Но почему-то парень ничего этого не сказал. Он молчал, чувствуя, как начинает от волнения потеть. Впервые в жизни он ощутил, что между ним и отцом что-то может вот-вот порваться, если уже не рвётся. И всё-таки он молчал.

Не услышав от сына ни слова, отец был вынужден заговорить с ним прямо, называя вещи своими именами.

– Ну, хорошо. – Стукнув ладонями по коленям, он встал и начал медленно ходить по комнате, иногда останавливаясь. – Ты же понимаешь, что ты профукал экзамены?

– Понимаю.

– Понимаешь. Это уже отрадно. Так вот, поскольку у тебя была на это уважительная причина, и поскольку я пребывал в святой уверенности, что ты сам горячо заинтересован в получении высшего образования… – На всякий случай отец и на этом месте сделал паузу, но ответом на неё снова было молчание. Тогда он заговорил с возрастающим недовольством: – В общем, пока ты там мужественно превозмогал недуг, я решил как-то поправить ситуацию с твоим поступлением в вуз. Я созвонился и встретился с Игорем Витальевичем, Оловянниковым – ты его должен помнить, он ездил с нами на Оку, это у него тогда лещ огромный леску оборвал и он неумело так матерился; мы ещё смеялись, а он на нас обижался... Так вот, этот Игорь Витальевич давно в институте работает и, в общем-то, не последний там человек. И он сказал мне: "Какие вопросы! Конечно! Поможем парню". Он вообще сказал, что готов договориться с ректором, чтобы тебя зачислили на первый курс без всяких экзаменов. Я, говорит, ни на секунду не сомневаюсь, что парень у тебя хороший, потому что прекрасно знаю тебя.

Парень отвёл глаза, готовясь со стыдливой благодарностью принять весть о том, что он уже студент. На самом деле, он был бы рад этой вести, и, кажется, отец это почувствовал.

– Я надеюсь, ты не думаешь, что я на это согласился? – спросил он тоном, исключающим возражение.

– Нет, конечно, – соврал парень. – Это уж как-то совсем…

– Вот именно, – немного успокоился отец. – Я сказал, что ты у меня человек серьёзный, сознательный (я действительно так думал и, в общем-то, продолжаю думать до сих пор), и сказал, что ты, мягко говоря, будешь не в восторге, если узнаешь, что "папочка за тебя похлопотал". Вы, говорю, просто придержите, если есть такая возможность, одно место на бюджете и примите у него экзамен по всем правилам, когда он к вам придёт. Пускай, говорю, как все нормальные люди, тянет билеты и демонстрирует свои знания. Поступит – прекрасно, нет – нет. – "Ладно. Хорошо. Одобряем. Пускай приходит, как поправится. Комиссию какую-никакую сколотим, экзамен примем"… И я вроде как успокоился. Я даже сообщать тебе тогда ни о чём не стал. Пускай, думаю, будет ему приятный сюрприз: вернётся, начнёт переживать, что экзамены пропустил, а я ему тут и скажу, что всё хорошо, иди и поступай. Но я ожидал с твоей стороны хоть каких-то добровольных телодвижений в этом направлении… – Отец изумлённо поднял плечи и выдвинул нижнюю губу. – День проходит. Два. Неделя. Вторая уже к концу подходит – сынок лежит, как Илюшенька на печи, не шевелится…

Парень молча глядел в окно. Самолётная полоса распалась в разные стороны на жидкие изогнутые лохмотья, напоминавшие волокна сахарной ваты. В этих лохмотьях сложно было угадать след человека. Это были простые облака.

Отец поглядел туда, куда смотрел парень, и, видимо, в эту самую секунду смутно догадался, что стихи во всём этом деле играют куда более серьёзную роль, чем он мог предполагать.

– Я вот одного понять не могу: почему это, – он указал на книгу и задвигал ладонью у себя перед глазами, как бы стирая пелену заблуждений, – никак не монтируется в твоём представлении с нормальными жизненными устремлениями? В конце концов, – если уж ты так крепко увяз в этой своей поэзии, – обучение в строительном институте не лишает тебя возможности ни читать стихи, ни даже с успехом их писать. – Подумав, отец решил добавить: – Макаревич, например, по образованию архитектор. Гребенщиков, если угодно, закончил факультет прикладной математики. Людей знает вся страна. Осмелюсь предположить, что без высшего образования они бы не достигли таких успехов, потому что высшее образование – это некая интеллектуальная планка, необходимая для любого вида профессиональной деятельности…

Отец ещё довольно долго говорил о достоинствах высшего образования, снова присев на стул, а парень наблюдал за опустевшим меркнущим небом. Где-то раз в полминуты он машинально переводил взгляд на отца, чтобы удостоверить его в своём внимании, которого на самом деле не было, и возвращался глазами и мыслями к небу. Отцовские слова казались ему всё менее значительными. Их важность умалялась по мере нарастания их количества, а так же по мере прихода ночи. В комнате синело, серело, чернело. Отца уже было жалко. Хотелось спасти его, исчезавшего, съедаемого чернотой.

– Поэтому из-за одной книжки – пускай и хорошей, не спорю! – ставить жирный крест на всём своём будущем… – завершал отец почти уже в полной тьме. – …ну, это как минимум опрометчиво.

Он уже без особенной надежды подождал ответа и, как обычно, не дождавшись, спросил:

– Хотя бы в этом ты согласен со мной?

Что-то помешало парню сказать "да".

– Надо подумать, – произнёс он с трудом.

– Подумать? – переспросил отец, как будто не поверив своим ушам. Он нетерпеливо поднялся со стула и усмехнулся сам себе: – А я тут перед ним, дурачок, распинаюсь! – Он опять усмехнулся и внезапно вспылил: – В таком случае, думать будешь знаешь где? В армии – два года! Понял?.. Понял меня?!

– Понял.

– Хорошо, что понял…

Хлопнув дверью, отец вышел из комнаты.

Парень остался лежать в одиночестве. Ему казалось, что тьма, наполнявшая комнату, из домашней снова превратилась в больничную, но мысль о стихах почему-то не приносила той отрады, которую приносила в больнице; от них уже почему-то не веяло нездешним ветром.

– Плен, – произнёс парень слово.

На следующее утро родители услышали, как он накачивает на балконе колёса велосипеда. Они переглянулись и подумали об одном и том же: что желание прокатиться напрямую связано со вчерашним разговором и знаменует собой что-то хорошее, правильное.

Парень вытащил велосипед на улицу, оседлал его и сразу поехал легко, быстро, радостно. "Как это я сразу не догадался?" – подумалось ему.

И вот он вырывается из синей тени, и солнце ударят в него. По обеим сторонам дороги распахивается слепящее поле, он резко берёт вправо и скатывается на извилистую тропинку, которая вытягивается вдоль кромки леса, кое-где отрезая от него по одному, по нескольку деревьев. Велосипед дребезжит, подпрыгивая на сосновых корнях.

Парень здесь впервые; ещё дома он решил, что будет ездить только по незнакомым местам. Он щурится от солнца и думает о том, как здорово ехать и не знать, когда эта тропинка кончится и куда приведёт; скорее, он даже не думает об этом, а просто живёт этим, захвачен этим целиком, и совсем бы в этом исчез, если бы его щёки, вздрагивая при каждом наезде на корни, не напоминали ему о его лице, о том, что он – это он.

Здесь, между лесом и полем, пахнет по-другому: мёдом, сосновой смолой, тёплым песком и, кажется, маслятами.

И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета, – строчки появляются в голове не как отрывок стихотворения, а как пророчество, которое сбывается в эту самую секунду.

Он вспоминает свою вчерашнюю мысль, – что стихи делают идеальным неидеальный мир, – и понимает, что был неправ: стихи идеальны только потому, что идеален мир. Даже так: стихи уже содержатся в мире, только в особом, небуквенном виде. Поэт – это человек, который может их записать для людей.

Стихи уже есть… Его ладони моментально вспотевают и начинают скользить по ручкам руля. Он чувствует близость какого-то нового, ещё никем не записанного стихотворения. Он не может назвать из него ни строчки и даже не в состоянии сказать, о чём оно, и в то же время каким-то таинственным образом уже знает его целиком, ощущает его бесспорное, уже готовое существование, как будто эти сосны и это поле без перерыва поют это стихотворение, как собственный гимн, – надо только вслушаться и перевести на человеческий язык. Какую-то долю секунды парень пребывает в совершенной уверенности, что эта задача элементарна, что гораздо сложнее ощутить само присутствие стихотворения, чем записать его, – но уже в следующее мгновение он стоит перед страшным фактом: услышать и записать ничего не получается. Стихотворение есть – но его нет.

"Снова плен", – звучит в его голове само.

Он начинает слепо, на ощупь составлять слова: "Поле. Солнце. Хвойный лес", – но чувствует, что эти слова не вызволяют его из плена, что они – совсем не то, о чём поёт на самом деле всё вокруг. Он испытывает муки бессилия, которые не мешают ему одновременно испытывать счастье.

"Это хорошо, это здорово, что не сразу", – говорит он себе и прощает себе бессилие, принимает его.

Внезапно он оказывается на берегу неширокой реки. Здесь тропинка, по которой он ехал, круто заворачивает влево и, отрываясь от кромки леса, становится полноценной грунтовой дорогой, старательно повторяющей речные изгибы.

Он слезает с велосипеда и, сделав глубокий вдох и сильный выдох, садится на берег в траву. Велосипедное движение ещё не успело прекратиться у него внутри, и кровь глухо постукивает в ушах, а в глазах от неожиданной остановки расходятся тёмные круги; наверное, сказывается больница.

"И это плен", – чувствует он, поневоле выходя из очарования.

Здесь много мошкары, от обильной травяной пыльцы чешется в носу, но никак не получается чихнуть; солнце накаляет череп навязчиво, неуклонно. На несколько долгих минут в душе парня воцаряется больничное послеобеденное бесчувствие. В эти минуты он – самый обыкновенный житель земли, которому незачем было вчера расстраивать отца из-за каких-то стихов, которому надо решать насущные проблемы, такие же душные, как эти минуты под безжалостным солнцем. Снова ему стыдно, что он настолько покорился стихам: что-то ему в этом видится детское или женское – явно не мужское.

Но кровь успокаивается, пот высыхает, дыхание становится ровным; небо милостиво проводит по самому солнцу маленькую стаю облаков, которые дают ненадолго ощутить прохладу, – и вот он опять чувствует себя в окружении живого, говорящего мира и ожидает от него новых стихов.

На другом берегу одиноко стоит, касаясь ветвями воды, густая, похожая на круглое облако ива. Кажется, исходящая от неё прохлада ощутима даже на этом берегу. Дерево как будто беседует с ним этой прохладой. За деревом поле, а на самом горизонте – белоснежное пятно колокольни.

И зеленело за рекой девичье поле пред глазами, и монастырь белел святой с горящими, как жар, крестами, – донеслось изнутри, а может, оттуда, издалека.

"Мир – это рай. Я в раю", – думает парень, слыша гудение пчёл, стрекотание кузнечиков и вдумчивый полуденный щебет маленьких птиц. Он уже любит это место так преданно и доверчиво, будто прожил на нём не несколько минут, а несколько лет, и так печально, будто вот-вот должен будет встать и разлучиться с ним надолго, может быть навсегда. Он знает, что это место навсегда вложилось в его сердце, стало его милой внутренней родиной.

Щука, сказочно крупная, выплыла из-под кувшинок и обошла медленным дозором мелководье, с достоинством шевеля плавниками над светлым песком и не обращая внимания на мелких рыбок, штук пять из которых, не опасаясь стать её добычей, проводили её до глубины в качестве свиты и торопливо вернулись в стаю.

"Что со всем этим делать?" – недоумевает парень.

Он медленно, зачарованно встаёт, поднимает с травы велосипед и не садится на него, а осторожно ведёт его по дороге вдоль реки. Движение в нём усмирилось. Настаёт покой. Он идёт как самый простой путник, ходивший по этой дороге не раз, с той лишь разницей, что идёт он не по обычной земле, а по раю.

Река (а вместе с ней и дорога) совершает крутой изгиб, и на месте изгиба вода рябит и сверкает, как во сне.

В небе тают облака, и, лучистая на зное, в искрах катится река, словно зеркало стальное… – вспоминает парень и счастливо шагает дальше, ощущая кругом вечный праздник.

Глядя по сторонам, он замечает простую, но очень важную особенность этого места: ничто не выдаёт в нём современности. Здесь не слышно машин, не торчат из-за горизонта высотки или дымящие трубы; здесь даже не валяется под ногами броского, ядовито-разноцветного мусора, который безошибочно позволил бы определить эпоху.

"Это место могло быть точно таким же и сто, и двести лет назад", – думает парень, и на короткое время ему представляется, и даже верится, что он чудесным образом прикатил на своём велосипеде в девятнадцатый век – Золотой век русской поэзии. И, может быть, прямо сейчас, и даже совсем неподалёку отсюда, Тютчев додумывает своё стихотворение:

Чудный день! Пройдут века – так же будут, в вечном строе, течь и искриться река и поля дышать на зное…

Он услышал эти строки, увидел их вокруг и спокойно, разве что с лёгкой грустью, вернулся мыслями в своё столетие.

Из-за какого-то далёкого извива реки, заслоняемая прежде кустарником, показалась и задрожала в горячем мареве фигурка верхом на двух невесомых, как будто из тонкого хрусталя сделанных колёсиках. О том, что она движется, а не стоит на месте, поначалу свидетельствует только переменчивое сверкание колёсных спиц. Парень останавливается, заворожённый картиной, похожей на мираж.

И шестикрылый серафим на перепутье мне явился…

Парень с волнением готовился к уготованной ему важной встрече. Проходит не меньше двух минут, прежде чем ему удаётся разглядеть, что фигурка – женская; он не смог уловить то мгновение, когда это стало ему понятно, поэтому уверен, что это было известно ему с самого начала.

Точно так же неуловимо и изначально известно наступают в его жизни долгие золотые секунды, в течение которых он близко видит ту, что приближалась к нему издалека.

Это девушка в белой косынке, в белой футболке и фиолетовых трико, слегка запачканных краской и дорожной пылью. Из-под косынки на лоб и плечи выбиваются тёмно-русые гладкие волосы. Велосипед её – старенький, скрипучий, кое-где заржавленный, однако кажется весьма прочным из-за того, что девушка, сидя на нём, держит прямую осанку и поднимает свои красивые колени старательно и равномерно.

Парень стоит и неотрывно смотрит на девушку, забыв о том, что это может выглядеть не совсем вежливо, может даже испугать её.

Действительно, на лице девушки отражается волнение: по-особенному розовеют щёки, и смотрит она как-то умышленно не на парня, а на дорогу перед собой. На ровном месте руль её велосипеда неожиданно виляет в сторону, колени ударяются друг о друга, и, едва она оставляет парня позади, закреплённый на багажнике её велосипеда алюминиевый бидон соскакивает и падает в траву. Он громыхнул своей пустотой, и девушка, конечно, это услышала, однако, прежде чем остановиться, она выравнивает руль и отъезжает от парня довольно далеко; вероятно, первым, бессознательным её стремлением было поскорее покинуть это место, пожертвовав бидоном.

Парень видит, как неловко она теперь перетаптывается, пытаясь развернуться вместе с велосипедом, высокая рама которого осталась у неё между ног. На кого-то она в эту секунду очень похожа: то ли на маленькую девочку, которая пытается пройтись в огромных маминых туфлях, то ли на какое-то морское